

НЕДЕЛЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Заходит к нам в роту вечером наш военком и говорит мне:

— Сидоров!

А я ему:

— Я!

Посмотрел он на меня пронзительно и спрашивает:

— Ты, — говорит, — что?

— Я, — говорю, — ничего...

— Ты, — говорит, — неграмотный?

Я ему, конечно:

— Так точно, товарищ военком, неграмотный.

Тут он на меня посмотрел еще раз и говорит:

— Ну, коли ты неграмотный, так я тебя сегодня вечером отправлю на «Травиату»!

— Помилуйте, — говорю, — за что же? Что я неграмотный, так мы этому не причинны. Не учили нас при старом режиме.

А он отвечает:

— Дурак! Чего испугался? Это тебе не в наказание, а для пользы. Там тебя просвещать будут, спектакль посмотришь, вот тебе и удовольствие.

А мы как раз с Пантелеевым из нашей роты нацелились в этот вечер в цирк пойти.

Я и говорю:

— А нельзя ли мне, товарищ военком, в цирк увольниться вместо театра?

А он прищурил глаз и спрашивает:

— В цирк?.. Это зачем же такое?

— Да, — говорю, — уж больно занятно... Ученого слона выводить будут, и опять же рыжие, французская борьба...

Помахал он пальцем.

— Я тебе, — говорит, — покажу слона! Несознательный элемент! Рыжие... рыжие! Сам ты рыжая деревенщина! Слоны-то ученые, а вот вы, горе мое, неученые! Какая тебе польза от цирка? А? А в театре тебя просвещать будут... Мило, хорошо... Ну, одним словом, некогда мне с тобой долго разговаривать... Получай билет, и марш!

Делать нечего — взял я билетик. Пантелеев, он тоже неграмотный, получил билет, и отправились мы. Купили три стакана семечек и приходим в «Первый советский театр».

Видим, у загородки, где впускают народ, — столпотворение вавилонское. Валом лезут в театр. И среди наших неграмотных есть и грамотные, и все больше барышни. Одна было и сунулась к контролеру, показывает билет, а тот ее и спрашивает:

— Позвольте, — говорит, — товарищ мадам, вы грамотная?

А та сдуру обиделась:

— Странный вопрос! Конечно, грамотная. Я в гимназии училась!

— А, — говорит контролер, — в гимназии. Очень приятно. В таком случае позвольте вам пожелать до свидания!

И забрал у нее билет.

— На каком основании, — кричит барышня, — как же так?

— А так, — говорит, — очень просто, потому пускаем только неграмотных.

— Но я тоже хочу послушать оперу или концерт.

— Ну, если вы, — говорит, — хотите, так пожалуйста в Кавсоюз. Туда всех ваших грамотных собрали — доктора там, фершала, профессора. Сидят и чай с патокою пьют, потому им сахару не дают, а товарищ Куликовский им романсы поет.

Так и ушла барышня.

Ну, а нас с Пантелеевым пропустили беспрепятственно и прямо провели в партер и посадили во второй ряд.

Сидим.

Представление еще не начиналось, и потому от скуки по стаканчику семечек сжевали. Посидели мы так часика полтора, наконец стемнело в театре.

Смотрю, лезет на главное место огороженное какой-то. В шапочке котиковой и в пальто. Усы, борода с проседью и из себя строгий такой. Влез, сел и первым делом на себя пенсне одел.

Я и спрашиваю Пантелеева (он хоть и неграмотный, но все знает):

— Это кто же такой будет?

А он отвечает:

— Это дери, — говорит, — жер. Он тут у них самый главный. Серьезный господин!

— Что ж, — спрашиваю, — почему ж это его напоказ сажают за загородку?

— А потому, — отвечает, — что он тут у них самый грамотный в опере. Вот его для примеру нам, значит, и выставляют.

— Так почему ж его задом к нам посадили?

— А, — говорит, — так ему удобнее оркестром хороводить!..

А дирижер этот самый развернул перед собой какую-то книгу, посмотрел в нее и махнул белым прутиком, и сейчас же под полом заиграли на скрипках. Жалобно, тоненько, ну прямо плакать хочется.

Ну, а дирижер этот действительно в грамоте оказался не последний человек, потому два дела сразу делает — и книжку читает, и прутом размахивает. А оркестр нажаривает. Дальше — больше! За скрипками на дудках, а за дудками на барабане. Гром пошел по всему театру. А потом как рявкнет с правой стороны... Я глянул в оркестр и кричу:

— Пантелеев, а ведь это, побей меня Бог, Ломбард, который у нас на пайке в полку!

А он тоже заглянул и говорит:

— Он самый и есть! Окромя его, некому так здорово врезать на тромбоне!

Ну, я обрадовался и кричу:

— Браво, бис, Ломбард!

Но только, откуда ни возьмись, милиционер, и сейчас ко мне:

— Прошу вас, товарищ, тишины не нарушать!

Ну, замолчали мы.

А тем временем занавеска раздвинулась, и видим мы на сцене — дым коромыслом! Которые в пиджаках кавалеры, а которые дамы в платьях танцуют, поют. Ну, конечно, и выпивка тут же, и в девятку то же самое.

Одним словом, старый режим!

Ну, тут, значит, среди прочих Альфред. Тозке пьет, закусывает.

И оказывается, братец ты мой, влюблен он в эту самую Травиату. Но только на словах этого не объясняет, а все пением, все пением. Ну, и она ему то же в ответ.

И выходит так, что не миновать ему жениться на ней, но только есть, оказывается, у этого самого Альфреда папаша, по фамилии Любченко. И вдруг, откуда ни возьмись, во втором действии он и шасть на сцену.

Роста небольшого, но представительный такой, волосы седые, и голос крепкий, густой — беривтон.

И сейчас же и запел Альфреду:

— Ты что ж, такой-сякой, забыл край милый свой?

Ну, пел, пел ему и расстроил всю эту Альфредову махинацию, к черту. Напился с горя Альфред пьяный в третьем действии, и устрой он, братцы вы мои, скандал здоровеннейший — этой Травииате своей.

Обругал ее, на чем свет стоит, при всех.

Поет:

— Ты, — говорит, — и такая и эдакая, и вообще, — говорит, — не желаю больше с тобой дела иметь.

Ну, та, конечно, в слезы, шум, скандал!

И заболей она с горя в четвертом действии чухоткой. Послали, конечно, за доктором.

Приходит доктор.

Ну, вижу я, хоть он и в сюртуке, а по всем признакам наш брат — пролетарий. Волосы длинные, и голос здоровый, как из бочки.

Подошел к Травииате и запел:

— Будьте, — говорит, — покойны, болезнь ваша опасная, и непременно вы помрете!

И даже рецепта никакого не прописал, а прямо попрощался и вышел.

Ну, видит Травиата, делать нечего — надо помирать.

Ну, тут пришли и Альфред и Любченко, просят ее не помирать. Любченко уж согласие свое на свадьбу дает. Но ничего не выходит!

— Извините, — говорит Травиата, — не могу, должна помереть.

И действительно, поехали они еще втроем, и померла Травиата.

А дирижер книгу закрыл, пенсне снял и ушел. И все разошлись. Только и всего.

Ну, думаю: слава Богу, просветились, и будет с нас! Скучная история!

И говорю Пантелееву:

— Ну, Пантелеев, айда завтра в цирк!

Лег спать, и все мне снится, что Травиата поет и Ломбард на своем тромбоне крикает.

Ну-с, прихожу я на другой день к военному и говорю:

— Позвольте мне, товарищ военком, сегодня вечером в цирк увольниться...

А он как рыкнет:

— Все еще, — говорит, — у тебя слоны на уме! Никаких цирков! Нет, брат, пойдешь сегодня в Совпроф на концерт. Там вам, — говорит, — товарищ Блох со своим оркестром Вторую рапсодию играть будет!

Так я и сел, думаю: «Вот тебе и слоны!»

— Это что ж, — спрашиваю, — опять Ломбард на тромбоне нажаривать будет?

— Обязательно, — говорит.

Оказия, прости Господи, куда я, туда и он с своим тромбоном!

Взглянул я и спрашиваю:

— Ну, а завтра можно?

— И завтра, — говорит, — нельзя. Завтра я вас всех в драму пошлю.

— Ну, а послезавтра?

— А послезавтра опять в оперу!

И вообще, говорит, довольно вам по циркам шляться. Настала неделя просвещения.

Осатанел я от его слов! Думаю: этак пропадешь совсем. И спрашиваю:

— Это что ж, всю нашу роту гонять так будут?

— Зачем, — говорит, — всех! Грамотных не будут. Грамотный и без Второй рапсодии хорош! Это только вас, чертей неграмотных. А грамотный пусть идет на все четыре стороны!

Ушел я от него и задумался. Вижу, дело табак! Раз ты неграмотный, выходит, должен ты лишиться всякого удовольствия...

Думал, думал и придумал.

Пошел к военкому и говорю:

— Позвольте заявить!

— Заявляй!

— Дозвольте мне, — говорю, — в школу грамоты.

Улыбнулся тут военком и говорит:

— Молодец! — и записал меня в школу.

Ну, походил я в нее, и что вы думаете, выучили-таки!

И теперь мне черт не брат, потому я грамотный!

ТОРГОВЫЙ РЕНЕССАНС

Москва в начале 1922-го года

Для того, кто видел Москву всего каких-нибудь полгода назад, теперь она неузнаваема, настолько резко успела изменить ее новая экономическая политика (нэпо, по сокращению, уже получившему права гражданства у москвичей).

Началось это постепенно... понемногу... То тут, то там стали отваливаться деревянные щиты, и из-под них глянули на свет после долгого перерыва запыленные и тусклые магазинные витрины. В глубине запущенных помещений загорелись лампочки, и при свете их зашевелилась жизнь: стали приколачивать, прибивать, чинить, распаковывать ящики и коробки с товарами. Вымытые витрины засияли. Вспыхнули сильные круглые лампы над выставками или узкие ослепительные трубки по бокам окон.

Трудно понять, из каких таинственных недр обнищавшая Москва ухитрилась извлечь товар, но она достала его и щедрой рукой вытряхнула за зеркальные витрины и разложила на полках.

Зашевелились Кузнецкий, Петровка, Неглинный, Лубянка, Мясницкая, Тверская, Арбат. Магазины стали расти как грибы, окропленные живым дождем нэпо... Государственные, кооператив-

ные, артельные, частные... За кондитерскими, которые первые повсюду загорелись огнями, пошли галантерейные, гастрономические, писчебумажные, шляпные, парикмахерские, книжные, технические и, наконец, огромные универсальные.

На оголенные стены цветной волной полезли вывески, с каждым днем новые, с каждым днем все больших размеров. Кое-где они сделаны на скорую руку, иногда просто написаны на полотне, но рядом с ними появились постоянные, по новому правописанию, с яркими аршинными буквами. И прибиты они огромными, прочными костылями.

Надолго, значит.

И старые погнувшиеся и обдушенные железные листы среди них как будто подтягиваются и оживают, и хилые твердые знаки так странно режут глаз.

Дальше больше, шире...

Не узнать Москвы. Москва торгует...

На Кузнецком целый день кипит на обледевевших тротуарах толчея пешеходов, извозчики едут вереницей, и автомобили летят, хрипя сигналами.

За сотенными цельными стеклами буйная гамма ярких красок: улыбаются раскрашенными лицами фигурки-игрушки артелей кустарей. Выше, в бывшем магазине Шанкса, из огромных витрин тучей глядят дамские шляпы, чулки, ботинки, меха. Это один из универсальных магазинов. Моск. потр. общ. Оно открыло восемь таких магазинов по всей Москве.

На Петровке в сумеречные часы дня из окон на черные от народа тротуары льется непрерывный электрический свет. Блестят окна конфек-

сионов. Сотни флаконов с лучшими заграничными духами, граненых, молочно-белых, желтых, разных причудливых форм и фасонов. Волны материй, груды галстуков, кружева, ряды коробок с пудрой. А вон безжизненно-томно сияют раскрашенные лица манекенов, и на плечи их наброшены бесценные по нынешним временам палантины.

Ожили пассажи.

Громада «Мюр и Мерилиза» еще безмолвно и пусто чернеет своими громадными стеклами, но уже в нижнем этаже исчезли из витрины гигантские раскрашенные карикатуры на Нуланса и По, а из дверей выметают сор. И Москва знает уже, что в феврале здесь откроют универсальный магазин Мосторга с двадцатью пятью отделениями и прежние директора Мюра войдут в его правление.

Кондитерские на каждом шагу. И целые дни и до закрытия они полны народу. Полки завалены белым хлебом, калачами, французскими булками. Пирожные бесчисленными рядами устилают прилавки. Все это чудовищных цен. Но цены в Москве давно уже никого не пугают, и сказочные, астрономические цифры миллионов (этого слова уже давно нет в Москве, оно окончательно вытеснено словом «лимон») пропускают за день блестящие, неустанно щелкающие кассы.

В бывшей булочной Филиппова на Тверской, до потолка заваленной белым хлебом, тортами, пирожными, сухарями и баранками, стоят непрерывные хвосты.

Выставки гастрономических магазинов поражают своей роскошью. В них горы коробок с консервами, черная икра, семга, балык, копченая ры-

ба, апельсины. И всегда у окон этих магазинов как зачарованные стоят прохожие и смотрят не отрываясь на деликатесы...

Все тридцать четыре гастрономических магазина М. П. О. и частные уже оповестили в объявлениях о том, что у них есть и русское, и иностранное вино, и москвичи берут его нарасхват.

В конце ноября «Известия» в первый раз вышли с объявлениями, и теперь ими пестрят страницы всех газет и торговых бюллетеней. А самолеты авиационной группы «Воздушный флот» уже сделали первый опыт разброски объявлений над Москвой, и теперь открыт прием объявлений «С аэроплана». Строка такого объявления стоит 15 руб. на новые дензнаки.

Движение на улицах возрастает с каждым днем. Идут трамваи по маршрутам 3, 6, 7, 16, 17, А и Б, и извозчики во все стороны везут москвичей и бойко торгуются с ними:

— Пожалуйте, господин! Рублик без лишнего (100 тыс.)! Со мной ездили!

У «Метрополя», у Воскресенских ворот, у Страстного монастыря — всюду на перекрестках воздух звенит от гомона бесчисленных торговцев газетами, папиросами, тянучками, булками.

У Ильинских ворот стоят женщины с пирожками в две шеренги. А на Ильинке с серого здания с колоннами исчезла надпись «Горный совет» и повисла другая, с огромными буквами: «Биржа», и в нем идут биржевые собрания и проходят через маклеров миллиардные сделки.

До поздней ночи движется, покупает, продает, толчется в магазинах московский люд. Но и поздним вечером, когда стрелки на освещенных уличных часах неуклонно ползут к полночи, когда уже

закрыты все магазины, все еще живет неутомонная Тверская.

И режут воздух крики мальчишек:

— «Ира рассыпная»! «Ява»! «Мурсал»!

Окна бесчисленных кафе освещены, и из них глухо слышится взвизгивание скрипок.

До поздней ночи шевелится, покупает и продает, ест и пьет за столиками народ, живущий в не виданном еще никогда торгово-красном Китай-городе.

Москва, 14/1 1922 г.

МОСКВА КРАСНОКАМЕННАЯ

І. УЛИЦА

Жужжит «Аннушка», звонит, трещит, качается. По Кремлевской набережной летит к Храму Христа.

Хорошо у Храма. Какой основательный кус воздуха навис над Москвой-рекой от белых стен до отвратительных бездымных четырех труб, торчащих из Замоскворечья.

За Храмом, там, где некогда величественно восседал тяжелый Александр III в сапогах гармоникой, теперь только пустой постамент. Грузный комод, на котором ничего нет и ничего, по-видимому, не предвидится. И над постаментом воздушный столб до самого синего неба.

Гуляй — не хочу.

Зимой массивные ступени, ведущие от памятника, исчезали под снегом, обледеневали. Мальчишки — «„Ява“ рассыпная!» — скатывались со снежной горы на салазках и в пробежавшую «Аннушку» швыряли комьями. А летом плиты у Храма, ступени у пьедестала пусты. Маячат две фигуры, спускаются к трамвайной линии. У одной за плечами зеленый горб на ремнях. В горбе — паек. Зимой пол-Москвы с горбами ходили. Горбы за собой на салазках таскали. А теперь — до-

вольно. Пайков гражданских нет. Получай миллионы — вали в магазин.

У другой — нет горба. Одет хорошо. Белый крахмал, штаны в полоску. А на голове выгоревший в грозе и буре бархатный околыш. На околыше — золотой знак. Не то молот и лопата, не то серп и грабли, во всяком случае, не серп и молот. Красный спец. Служит не то в ХМУ, не то в ЦУСе. Удачно служит, не нуждается. Каждый день ходит на Тверскую в гигантский магазин Эм-пе-о (в легендарные времена назывался Елисеев) и тычет пальцем в стекло, за которым лежат сокровища:

— Э-э... два фунта...

Приказчик в белом фартуке:

— Слуш... с-с...

И чирк ножом, но не от того куска, в который спец тыкал, что посвежее, а от того, что рядом, где подозрительнее.

— В кассу прошу...

Чек. Барышня бумажку на свет. Не ходят без этого бумажки никак. Кто бы в руки ни взял, первым долгом через нее на солнце. А что на ней искать надо, никто в Москве не ведает. Касса хлопнула, прогремела и съела десять спецовых миллионов. Сдачи: две бумажки по сту.

Одна настоящая с водяными знаками, другая, тоже с водяными знаками, — фальшивая.

В Эмпео-елисеевских зеркальных стеклах — все новые покупатели. Три фунта. Пять фунтов. Икра черная лоснится в банках. Сиги копченые. Пирамиды яблок, апельсинов. К окну какой-то самоистязатель носом прилип, выкатил глаза на люстры-гроздя, на апельсины. Головой крутит. Проспал с 18 по 22 год!

А мимо, по избитым торцам, — велосипедист за велосипедистом. Мотоциклы. Авто. Свистят, каркают, как из пулеметов стреляют. На автоконьяке ездят. В автомобиль его нальешь, пустишь — за автомобилем сизо-голубой удушливый дым столбом.

Летят общипанные, ободранные, развинченные машины. То с портфелями едут, то в шлемах краснозвездных, а то вдруг подпрыгнет на кожаных подушках дама в палантине, в стомиллионной шляпе с Кузнецкого. А рядом, конечно, выгоревший околыш. Нувориш. Нэпман.

Иногда мелькнет бесшумная, сияющая лаком машина. В ней джентльмен иностранного фасона. АРА.

Извозчики то вереницей, то в одиночку. Дыхание бури их не коснулось. Они такие, как были в 1822 г., и такие, как будут в 2022-м, если к тому времени не вымрут лошади. С теми, кто торгуется, — наглы, с «лимонными» людьми — угодливы: — Вас возил, господин!

Обыкновенная совпублика — пестрая, многоликая масса, что носит у московских кондукторш название: граждáне (ударение на втором слоге), — ездит в трамваях.

Бог их знает, откуда они берутся, кто их чинит, но их становится все больше и больше. На 14 маршрутах уже скрежещут в Москве. Большею частью — ни стать, ни сесть, ни лечь. Бывает, впрочем, и просторно. Вон «Аннушка» заворачивает под часы у Пречистенских ворот. Внутри кондуктор, кондукторша и трое пассажиров. Трое ожидающих сперва машинально становятся в хвост. Но вдруг хвост рассыпался. Лица становятся озабоченными. Локтями начинают толкать друг друга.

Один хватается за левую ручку, другой одновременно за правую. Не входят, а «лезут». Штурмуют пустой вагон. Зачем? Что такое? Явление это уже изучено. Атавизм. Память о тех временах, когда не стояли, а висели. Когда ездили мешки с людьми. Теперь подите повисните! Попробуйте с пятипудовым мешком у Ярославского вокзала сунуться в вагон.

— Граждáне, нельзя с вещами.

— Да что вы... маленький узелочек...

— Гражданин! Нельзя!!! Как вы понятия не имеете!!

Звонок. Стоп. Выметайтесь.

И:

— Граждáне, получайте билеты. Граждáне, продвигайтесь вперед.

Граждане продвигаются, граждане получают. Во что попало одеты граждане. Блузы, рубахи, френчи, пиджаки. Больше всего френчей — омерзительного наряда, оставшегося на память о войне. Кепки, фуражки. Куртки кожаные. На ногах большей частью подозрительная стоптанная рвань с кривыми каблуками. Но попадаете уже лак. Советские сокращенные барышни в белых туфлях.

Катит пестрый маскарад в трамвае.

На трамвайных остановках гвалт, гомон. Чревоушительные сиплые альты поют:

— Сиводнишняя «Известия-я»... Патриарха Тихххх-а-аана!.. Эсеры... «Накану-у-не»... из Берлина только што па-алучена...

Несется трамвай среди говора, гомона, гудков. В центр.

Летит мимо Московской улицы. Вывеска на вывеске. В аршин. В сажень. Свежая краска бьет

в глаза. И чего, чего на них нет. Все есть, кроме твердых знаков и ятей. Цупвоз. Цустрани. Моссельпром. Отгадывание мыслей. Мосдревотдел. Виноторг. Старо-Рыковский трактир. Воскрес трактир, но твердый знак потерял. Трактир «Спорт». Театр трудящихся. Правильно. Кто трудится, тому надо отдохнуть в театре. Производство «сандаля». Вероятно, сандалий. Обувь дамская, детская и «мальчиковая». Врывсельпромгвиу. Униторг, Мосторг и Главлесторг. Центробумтрест.

И в пестром месиве слов, букв на черном фоне белая фигура — скелет руки к небу тянет. Помоги! Г-о-л-о-д. В терновом венце, в обрамлении косм, смертными тенями покрытое лицо девочки и выгоревшие в голодной пытке глаза. На фотографиях распухшие дети, скелеты взрослых, обтянутые кожей, валяются на земле. Всмотрись, представишь себе — и день в глазах посереет. Впрочем, кто все время ел, тому непонятно. Бегут нувориши мимо стен, не оглядываются...

До поздней ночи улица шумит. Мальчишки — красные купцы — торгуют. К двум ползут стрелки на огненных круглых часах, а Тверская все дышит, ворочается, выкрикивает. Взвизгивают скрипки в кафе «Куку». Но все тише, реже. Гаснут окна в переулках... Спит Москва после пестрого будня перед красным праздником...

...Ночью спец, укладываясь, Неизвестному Богу молится:

— Ну что тебе стоит? Пошли на завтра ливень. С градом. Ведь идет же где-то град в два фунта. Хоть в полтора.

И мечтает:

— Вот выйдут, вот плакатики вынесут, а сверху как ахнет...

И дождик идет, и порядочный. Из перержавших водосточных труб хлещет. Но идет-то он в несуразное, никому не нужное время — ночью. А наутро на небе ни пылинки!

И баба бабе у ворот говорит:

— На небе-то, видно, за большевиков стоят...

— Видно, так, милая...

В десять по Тверской прокатывается оглушительный марш. Мимо ослепших витрин, мимо стен, покрытых вылинявшими пятнами красных флагов, в новых гимнастерках с красными, синими, оранжевыми клапанами на груди, с красными шевронами, в шлемах, один к одному, под лязг тарелок, под рев труб рота за ротой идет красная пехота.

С двухцветными эскадронными значками — разномастная кавалерия на рысях. Броневики лезут.

Вечером на бульварах толчея. Александр Сергеевич Пушкин, наклонив голову, внимательно смотрит на гудящий у его ног Тверской бульвар. О чем он думает — никому не известно... Ночью транспаранты горят. Звезды...

...И опять засыпает Москва. На огненных часах три. В тишине по всей Москве каждую четверть часа разносится таинственный нежный перезвон со старой башни, у подножия которой, не угасая всю ночь, горит лампа и стоит бессонный часовой. Каждую четверть часа несется с кремлевских стен перезвон. И спит перед новым буднем улица в невиданном, неслыханном красноторговом Китай-городе.

ЧАША ЖИЗНИ

Веселый московский рассказ
с печальным концом

Истинно, как перед Богом, скажу вам, гражданин, пропадаю через проклятого Пал Васильича... Соблазнил меня чашей жизни, а сам предал, подлец!..

Так дело было. Сижу я, знаете ли, тихо-мирно дома и калькуляцией занимаюсь. Ну, конечно, это только так говорится, калькуляцией, а на самом деле жалования — 210. Пятьдесят в кармане. Ну и считаешь: 10 дней до первого. Это сколько же? Выходит — пятерка в день. Правильно. Можно дотянуть? Можно, ежели с калькуляцией. Превосходно. И вот открывается дверь, и входит Пал Васильич. Я вам доложу: доха на нем не доха, шапка — не шапка! Вот, сволочь, думаю! Лицо красное, и слышу я — портвейном от него пахнет. И ползет за ним какой-то, тоже одет хорошо.

Пал Васильич сейчас же знакомит:

— Познакомьтесь, — говорит, — наш, тоже трес-товый.

И как шваркнет шапку эту об стол, и кричит:

— Переутомился я, друзья! Заела меня работа! Хочу я отдохнуть, провести вечер в вашем кругу! Молю я, друзья, давайте будем пить чашу жизни! Едем! Едем!

Ну, деньги у меня какие? Я и докладываю: пятьдесят. А человек я деликатный, на дурничку не привык. А на пятьдесят-то что сделаешь? Да и последние!

Я и отвечаю:

— Денег у меня...

Он как глянет на меня.

— Свинья ты, — кричит, — обижаешь друга?!

Ну, думаю, раз так... И пошли мы.

И только вышли, начались у нас чудеса! Дворник тротуар скребет. А Пал Васильич подлетел к нему, хватя у него скребок из рук и начал сам скрести.

При этом кричит:

— Я — интеллигентный пролетарий! Не гнушаюсь работой!

И прохожему товарищу по калоше — чик! И разрезал ее. Дворник к Пал Васильичу и скребок у него из рук выхватил. А Пал Васильич как заорет:

— Товарищи! Караул! Меня, ответственного работника, избивают!

Конечно, скандал. Публика собралась. Вижу я — дело плохо. Подхватили мы с трестовым его под руки и в первую дверь. А на двери написано: «...и проблема вин». Товарищ за нами, калоша в руках.

— Позвольте деньги за калошу.

И что ж вы думаете? Расстегнул Пал Васильич бумажник, и как заглянул я в него — ужаснулся! Одни сотенные. Пачка пальца в четыре толщиной. Боже ты мой, думаю. А Пал Васильич отслюнил две бумажки и презрительно товарищу:

— П-палучите, т-товарищ.

И при этом в нос засмеялся, как актер:

— А. Ха. Ха.

Тот, конечно, смылся. Калошам-то красная цена сегодня была полтинник. Ну, завтра, думаю, за шестьдесят купит.

Прекрасно. Уселись мы и пошли. Портвейн московский, знаете? Человек от него не пьянеет, а так лишается всякого понятия. Помню, раков мы ели и неожиданно оказались на Страстной площади. И на Страстной площади Пал Васильич какую-то даму обнял и троекратно поцеловал: в правую щеку, в левую и опять в правую. Помню, хохотали мы, а дама так и осталась в оцепенении. Пушкин стоит, на даму смотрит, а дама на Пушкина.

И тут же налетели с букетами, и Пал Васильич купил букет и растоптал его ногами.

И слышу голос сдавленный из горла:

— Я вас? К-катаю?

Сели мы. Оборачивается к нам и спрашивает:

— Куда, Ваше Сиятельство, прикажете?

Это Пал Васильич! Сиятельство! Вот, сволочь, думаю!

А Пал Васильич доху распахнул и отвечает:

— Куда хочешь.

Тот в момент рулем крутанул, и полетели мы как вихрь. И через пять минут — стоп на Неглинном. И тут этот рожком три раза хрюкнул, как свинья:

— Хрр... хрю... хрю...

И что же вы думаете! На это самое «хрю» — лакеи! Выскочили из двери и под руки нас. И метрдотель, как какой-нибудь граф:

— Сто-лик.

Скрипки:

Под знойным небом Аргентины...

И какой-то человек в шапке и в пальто, и вся половина в снегу, между столиками танцует. Тут стал уже Пал Васильич не красный, а какой-то пятнистый, и грянул:

— Долой портвейны эти! Желаю пить шампанское!

Лакеи врассыпную кинулись, а метрдотель наклонил пробор:

— Могу рекомендовать марку...

И залетали вокруг нас пробки, как бабочки.

Пал Васильич меня обнял и кричит:

— Люблю тебя! Довольно тебе киснуть в твоём Центросоюзе. Устраиваю тебя к нам в трест. У нас теперь сокращение штатов, стало быть, вакансии есть. А я в тресте и царь, и Бог!

А трестовый его приятель гаркнул «верно!» — и от восторга бокал об пол и вдребезги.

Что тут с Пал Васильичем сделалось!

— Что, — кричит, — ширину души желаешь показать? Бокальчик разбил и счастлив? А. Ха. Ха. Гляди!!

И с этими словами вазу на ножке об пол — раз! А трестовый приятель — бокал! А Пал Васильич — судок! А трестовый — бокал!

Очнулся я только, когда нам счет подали. И тут глянул я сквозь туман — о-д-и-н м-и-л-л-и-а-р-д девятьсот двенадцать миллионов. Да-с.

Помню я, слюнил Пал Васильич бумажки и вдруг вытаскивает пять сотенных и мне:

— Друг! Бери взаймы! Прозябаешь ты в своём Центросоюзе! Бери пятьсот! Поступишь к нам в трест и сам будешь иметь!

Не выдержал я, гражданин. И взял я у этого подлеца пятьсот. Судите сами: ведь все равно пропъет, каналья. Деньги у них в трестах легкие. И вот, верите ли, как взял я эти проклятые пятьсот, так вдруг и сжало мне что-то сердце. И обернулся я машинально и вижу сквозь пелену — сидит в углу какой-то человек и стоит перед ним

бутылка сельтерской. И смотрит он в потолок, а мне, знаете ли, почудилось, что смотрит он на меня. Словно, знаете ли, невидимые глаза у него — вторая пара на щеке.

И так мне стало как-то вдруг тошно, выразить вам не могу!

— Гоп, ца, дрица, гоп, ца, ца!!

И как боком к двери. А лакеи впереди понеслись и салфетками машут!

И тут пахнуло воздухом мне в лицо. Помню еще, захрюкал опять шофер и будто ехал я стоя. А куда — неизвестно. Начисто память отшибло...

И просыпаюсь я дома! Половина третьего.

И голова — Боже ты мой! — поднять не могу! Кой-как припомнил, что это было вчера, и первым долгом за карман — хватать. Тут они — пятьсот! Ну, думаю — здорово! И хоть голова у меня разваливается, лежу и мечтаю, как это я в тресте буду служить. Отлежался, чаю выпил, и полегчало немного в голове. И рано я вечером заснул.

И вот ночью звонок...

А, думаю, это, вероятно, тетка ко мне из Саратова.

И через дверь, босиком, спрашиваю:

— Тетя, вы?

И из-за двери голос незнакомый:

— Да. Откройте.

Открыл я и оцепенел...

— Позвольте... — говорю, а голоса нету, — узнать, за что же?..

Ах, подлец!! Что ж оказывается? На допросе у следователя Пал Васильич (его еще утром взяли) и показал:

— А пятьсот из них я передал гражданину такому-то — это мне, стало быть!

СОДЕРЖАНИЕ

НЕДЕЛЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ	5
ТОРГОВЫЙ РЕНЕССАНС	12
МОСКВА КРАСНОКАМЕННАЯ	17
ЧАША ЖИЗНИ	23
ПОД СТЕКЛЯННЫМ НЕБОМ	29
БЕНЕФИС ЛОРДА КЕРЗОНА	35
КОМАРОВСКОЕ ДЕЛО	40
САМОЦВЕТНЫЙ БЫТ	48
ШАНСОН Д'ЭТЭ	54
ДЕНЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ	61
БЕЛОБРЫСОВА КНИЖКА	69
ПРОСВЕЩЕНИЕ С КРОВОПРОЛИТИЕМ	75
ПЛОЩАДЬ НА КОЛЕСАХ	78
ГОВОРЯЩАЯ СОБАКА	81
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПОКОЙНИКА	86
ГЛАВПОЛИТБОГОСЛУЖЕНИЕ	90
БРАЧНАЯ КАТАСТРОФА	93
ИГРА ПРИРОДЫ	95
СТЕНКА НА СТЕНКУ	100
ЗВУКИ ПОЛЬКИ НЕЗЕМНОЙ	104
ЦЕЛИТЕЛЬ	107

ЗАЛОГ ЛЮБВИ	110
ОНИ ХОЧУТЬ СВОЮ ОБРАЗОВАННОСТЬ ПОКАЗАТЬ...	114
МАДМАЗЕЛЬ ЖАННА	118
КОНДУКТОР И ЧЛЕН ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛИИ	122
ПРАЗДНИК С СИФИЛИСОМ	126
БАЩИЦА ИВАН	130
О ПОЛЬЗЕ АЛКОГОЛИЗМА	134
КАК БУТОН ЖЕНИЛСЯ	138
СМЫЧКОЙ ПО ЧЕРЕПУ	141
ШПРЕХЕН ЗИ ДЕЙТЧ?	145
УГРЫЗАЕМЫЙ ХВОСТ	148
ДВУЛИКИЙ ЧЕМС	151
РАБОТА ДОСТИГАЕТ 30 ГРАДУСОВ	155
МЕРТВЫЕ ХОДЯТ	159
«ВОДА ЖИЗНИ»	162
КОЛЕСО СУДЬБЫ	167
ТАРАКАН	172
БУБНОВАЯ ИСТОРИЯ	182
ВОСПАЛЕНИЕ МОЗГОВ	191
ЗОЛОТЫЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ФЕРАПОНТА ФЕРАПОНТОВИЧА КАПОРЦЕВА	199
Комментарии. <i>В. И. Лосев</i>	210